

ЦЕРКОВЬ

Чем явственнее означаются в уме отличительные племенные черты каждого вероисповедания, тем более убеждаешься в том, какое недостижимое и мечтательное дело — объединение вероисповеданий в одном искусственном, надуманном соглашении о догмате, на начале взаимной уступки в частях несущественных. Существенное в каждом вероисповедании едва ли возможно выразить, выяснить на бумаге или в определенной формуле. Самое существенное, самое упорное и драгоценное в церковном веровании — неуловимо, недоступно определению, подобно разнообразию света и теней подобно чувству, сложившемуся из бесконечного ряда последовательных ощущений, представлений и впечатлений. Самое существенное — связано и сплетено множеством таких тонких корней с психической природой каждого племени и с общими, сложившимися в нем, началами нравственного мирозерцания, что невозможно отделить одно от другого. Разноплеменные и разноцерковные люди могут, во многих отношениях, при встрече, во взаимном общении, почувствовать себя братьями и подать друг другу руки; но для того, чтоб они почувствовали себя братьями в одном храме, соединились в религиозном общении духа, — для этого надобно им долго и много прожить вместе, друг друга понять во всей жизненной обстановке и сплестись между собой в самых внутренних корнях глубины душевной. Так иногда немец, долго проживший в России, бессознательно привыкает веровать по-русски, и в русской церкви чувствует себя дома. Тогда он *входит* к нам, становится одним из наших, и общение его с нами — полное, духовное. Но чтобы то или другое общество протестантов, вдалеке от нас стоящее, по слуху судящее об нас, могло, по книжному или отвлеченному соглашению о догматах и обрядах, соединиться с нами в одну церковь органическим союзом и стать едино с нами по духу, — этого и представить себе нельзя. До сих пор не удавалась еще ни одна церковная уния, основанная на соглашении: рано или поздно обнаруживалось фальшивое начало такого союза, и плодом его бывало повсюду умножение не любви, а взаимного отчуждения или даже ненависти.

Сохрани Боже порицать друг друга за веру; пусть каждый верует по-своему, как ему сроднее. Но у каждого есть вера, в которой ему приятно, которая ему по душе, которую он любит; и нельзя не чувствовать, когдаходишь к иной вере, несродной, несочувственной, что здесь — не то, что у нас;

здесь неприятно и холодно; здесь не хотел бы жить. Пусть разум говорит отвлеченным рассуждением: ведь, они тому же Богу молятся. Чувство не всегда может согласиться с этим рассуждением; иногда чувству кажется, что в чужой церкви как будто не тому Богу молятся.

Многие станут смеяться над таким ощущением, пожалуй, назовут его суеверием, фанатизмом. Напрасно. Ощущение не всегда обманчиво; в нем сказывается иногда истина прямее и вернее, нежели в рассуждении.

В протестантском храме, в протестантском веровании холодно и неприятно русскому человеку. Мало того, если ему дорога вера как жизнь, — он чувствует, что назвать этот храм своим — для него все равно что умереть. Вот непосредственное чувство. Но этому чувству много и резонных причин. Вот одна из них, которая особенно поражает своей очевидностью.

В богословской полемике, в спорах между религиями, в совести каждого человека и каждого племени один из основных вопросов — вопрос о *делах*. Что главное — *дело* или *вера*? Известно, что на этом вопросе препирается доныне латинское богословие с

протестантским. Покойный Хомяков в своих богословских сочинениях прекрасно разъяснил, до какой степени обманчива схоластически абсолютная постановка этого вопроса. Объединение веры с делом, равно как и отождествление слова с мыслью, дела с словом — есть идеал недостижимый для человеческой природы, как недостижимо все безусловное... идеал, вечно возбуждающий и вечно обличающий верующую душу. Вера без дел мертва; вера, противная делам, мучит человека сознанием внутренней лжи, в необъятном мире внешности, объемлющем человека, и пред лицом бесконечной вечности — что значит *дело* или *всяческие дела* что значат — без веры?

Покажи мне *веру твою* от *дел твоих* - вот страшный вопрос! Что на него ответит! *уверенному*, когда спрашивает его *ищущий*, ищущий познать истину от дела? Положим, что такой вопрос задает протестант православному человеку. Что ответит ему православный? — Придется опустить голову. Чувствуется, что показать нечего, все не прибрано, все не начато, все под обломками. Но через минуту можно поднять голову и сказать: грешные мы люди и показывать нам нечего, да, ведь, и ты не праведный. Но приди к нам сам, поживи с нами: и увидишь нашу веру, и почувешь наше чувство, и, может быть, с нами полюбишься. А дела наши, какие есть, увидишь. После такого ответа девяносто девять из ста отойдут от нас с презрительной усмешкой. В сущности все дело только в том, что мы показывать дела свои против веры не умеем, да и не решаемся.

А они показывают. И умеют показать, и правду сказать, есть им что показать, в совершенном порядке — веками созданные, сохраненные и упроченные дела и учреждения. Смотрите,— говорит католическая церковь,— что я значила и что значу в жизни того общества, которое меня слушает и мне служит, что я создала и что мною держится. Вот дела любви, вот дела веры, вот дела апостольства, вот подвиги мученичества, вот полки верные, как один человек, которые я рассылаю на концы вселенной. Не ясно ли, что со мною и в нас благодать пребывает от века и донныне?

Смотрите,— говорит протестантская церковь,— я не терплю лжи, обмана и суеверия. Я привожу дела в соответствие и разум . в соглашение с верой. Я освятила верою труд, житейские отношения, семейный быт, верой искореняю праздность и суеверие, водворяя честность, правосудие и общественный порядок. Я учу ежедневно, и учение мое, близкое к жизни, воспитывает целые поколения в привычке к честному труду и в добрых нравах. Человечество призвано обновиться учением моим — в добродетели и в правде. Я призвана искоренить мечом 'слова и дела разврат и лицемерие повсюду. Не явно ли, что сила Божия со мною, потому что во мне *истинное воззрение на религию*?

Протестанты донныне спорят с католиками о догматическом значении *дела* в отношении к вере. Но при совершенной противоположности богословского воззрения на этот предмет, и те и другие ставят *дело во* главу своей религии. Только у латинян дело служит в оправдание, в искупление, во свидетельство о благодати. Лютеране, с другой стороны, смотрят на дело, и в связи с делом, на самую религию, с практической точки зрения. Дело как будто обращается у них в *цель*, для которой существует религия, становится оселком, на котором испытывается *правда* религиозная и церковная, и вот пункт, на котором, более чем на всяком другом, наша религиозная мысль расходится с религиозной мыслью протестантизма. Без сомнения, высказанное сейчас воззрение не составляет догматического положения в лютеранской церкви, ибо им проникнуто все ее учение. Бесспорно в нем есть весьма важная *практическая* сторона, для *здесьней* жизни, для *мира* сезрий и оттого многие, даже у нас, готовы иногда, ставить нашей церкви в образец и в идеал церковь протестантскую. Но русский человек, в глубине верующей души, не примет никогда такого воззрения. *Благочестие на все полезно* — и по апостольскому слову, но это лишь одна из *естественных* принадлежностей благочестия. Русский человек не менее другого знает, что жить должно по *вере*, и чувствует, как мало сходна с верой жизнь его; но существо и цель веры своей полагает он не в практической жизни, а в душевном спасении, и любовью церковного союза ищет обнять всех — от живущего по вере праведника до того разбойника, который, несмотря на дела, прощен был в одну минуту.

Это *практическое основание* протестантизма нигде не выражается так явственно, как в церкви англиканской и в духе религиозного воззрения английской нации. Оно и согласуется с характером нации, выработавшимся в ее истории - направлять мысль и деятельность повсюду к практическим целям, стойко и неуклонно добиваться успеха и во всем избирать те пути и способы, которые ближе и вернее ведут к успеху. Это природное стремление необходимо должно было искать себе нравственной основы, выработать для себя нравственную теорию; и немудрено, что нравственные начала нашли для себя санкцию в соответствующем известному характеру религиозном воззрении. Религия бесспорно освящает нравственное начало деятельности, учит, как жить и действовать па земле, требует трудолюбия, честности, правды. Нельзя не согласиться с этим положением. Но от этого положения практический взгляд на религию прямо переходит к вопросу: что же за религия у того, кто живет в праздности, нечестен и лжив, развратен, беспорядочен, не умеет поддержать себя? Такой человек язычник, а не Христианин; лишь тот христианин, кто живет по закону и являет в себе силу закона христианского.

Рассуждение, по-видимому, логически правильное. Но у кого не шевелится в душе вопрос: как же быть на свете и в Церкви мытарям и блудницам, тем, которые, по слову Христову, предваряют нередко церковных праведников в Царствии Божием? Разумеется, странно было бы предполагать, что такой взгляд на религию составляет положительную формулу церковного верования в Англии. Такая *формула* была бы явным отрицанием евангельского учения. Но таков именно дух религиозного воззрения у самых добросовестных и ревностных представителей так называемого «национального церковного учреждения», отстаивающих и восхваляющих англиканскую церковь, «как первую твердыню государства — bulwark of State — и как основное выражение духа национального. В английской литературе, как в духовной, так и светской, это воззрение выражается иногда в весьма резких формах, в таких словах, пред коими останавливается с недоумением, похожим на ужас, мысль русского читателя.

Есть сочинение замечательное по глубине и основательности мысли, написанное человеком очевидно верующим, глубоко и ревностно преданным своей церкви. Вот что здесь сказано между прочим о религии.

«Некоторые религии очевидно не благоприятны чувству общественного долга. Иные не имеют никакого к нему отношения, а из тех религий, которые ему благоприятствуют (таковы в большей или меньшей мере все формы христианской веры) одни действуют на него с особенной, другие с меньшей силой. Можно сказать, что всего могущественнее действуют в этом смысле те религии, в коих господствует над всем образ бесконечно мудрого и могущественного законодателя. Его личное бытие неисследимо, для человеческого разума; но он сотворил мир • таким, *каков есть мир*, сотворил его *для рода людей благоразумных, твердых и, смелых у духом и устойчивых*; для *тех*, которые сами небезумны и нетрусливы, и не очень жалуют; безумных и трусов, знают твердо, что им нужно, и с решимостью употребляют *все законные средства, чтобы того достигнуть*. Такая-то религия составляет безмолвное, но глубоко укоренившееся убеждение английской нации, в лучших, солиднейших ее представителях. Они представляют наковальню, о которую избилось уже множество молотов, и избьется еще того больше, невзирая ни на каких энтузиастов и гуманитарных мечтателей» (Stephen. Liberty, legality, fraternity). Вот до какого понятия о религии может дойти мысль уверенного англиканца-протестанта. Выписанные слова в сущности содержат в себе прямое извращение евангельского слова; они как будто говорят: *блаженны крепкие и сильные* в деле: им принадлежит царство. Да, скажем мы: — царство земное, но не царство небесное. Автор не делает, этой оговорки, он не различает земного от небесного. Какая страшная, какая отчаянная доктрина!

Такое настроение *религиозной* мысли бесспорно имело в протестантских странах, и особенно в Англии, величайшее практическое значение, и в этом смысле нельзя не согласиться, что протестантство было сильным и благотельным двигателем общественного развития у тех племен, коих натуре оно соответствовало, и которые его

приняли. Но не очевидно ли, вместе с тем, что некоторые племена, по своей натуре, никак не *могут* принять его и ему подчиниться, потому что именно в этом воззрении протестантизма не чувствуют жизненного религиозного начала, видят не единство, а раздвоение религиозного сознания, не живую истину, а *конструкцию* мысли и обольщения.

«Горе слабым и падающим! Горе побежденным!»! Конечно, в здешней жизни это непреложная истина, и правило житейской мудрости говорит каждому: борись, входи в силу и держи в себе силу, если хочешь жить; слабому нет места на свете.. Но придавать этому правилу безусловную, как бы догматическую силу в религиозном смысле — вот чего наша душа не принимает, как не принимает она сродного протестантству ужасного кальвинского учения о том, что иные от века призваны к добродетели, к славе, к спасению и блаженству, а другие от века осуждены, и что бы ни делали в жизни, все влечет их в бездну отчаяния и вечных мучений.

Страшно читать иных английских писателей, у которых с особенной силой звучит эта струна англиканского протестантизма. У Карлейля, например, доходит до восторженного пафоса поклонение силе и таланту победителя и презрение к побежденным. Созерцая своих героев, сильных людей, овичествует в них воплощение *божественного* и с тонким презрительным юмором говорит о тех слабых и несчастных, неловких и падших, которых раздавила победная колесница. Его герой воплощает в себе идею света и порядка, в мраке и неустройстве космического хаоса; его герой *строит* свою вселенную, и все что встречается ему на дороге и не умеет ему покориться и служить ему, и не имеет своей силы, чтобы побороть его, погибает достойно и праведно. Громадный талант Карлейля обвораживает читателя, но тяжело читать его исторические поэмы и видеть, как часто имя Божие применяется им всуе в борьбе сильного со слабыми. У язычников классического периода — и у тех возле победной колесницы шел иногда шут, который, служа представителем нравственного начала, должен был преследовать своими •шутками не побежденных, а самого победителя.

Всего тяжелее читать Фруда, знамени того историка английской реформации и самого видного, между историками, представителя английских национальных начал в церкви и в политике. Карлейль, но крайней мере, поэт; но Фруд говорит спокойным тоном историка, любит диалектику — и нет беззакония, которого не оправдал бы он своей диалектикой в пользу любимой идеи; нет лицемерия, которого не построил бы он в правду, доказывая правду реформы и главных ее деятелей. Он стоит непоколебимо, фанатически, на основах англиканского правоверия, и главной основой его полагает сознание долга общественного, преданность государственной идее и закону,— и неумолимое преследование порока, преступления, праздности и всего, что называется изменой долгу. Все это прекрасно в деле человеческом; но каково ставить такое правило в основание и цель религиозного воззрения, если подумаешь, что каждому из этих священных слов — и долгу, и закону, и пороку, и преступлению каждая партия в каждую минуту придает особенное значение, и что между людьми сегодня называют правдой и доблестью, за то завтра казнят, как за ложь и преступление. Для милости, для сострадания не остается места в веровании Фруда, как можно согласить милость с негодованием на то, что считается пороком, преступлением, нарушением закона? Упоминая о страшных казнях, которым подвергались в ту пору так часто и невинные, наравне с виноватыми, строгий судья человеческих дел так говорит о своем народе: «англичане — строгий и суровый народ — они не знают; сострадания там, где *нет законной причины* допустить сострадание; напротив того, они исполнены священного и торжественного ужаса к злодеянию — чувство, которое, той мере своего развития в душе, необходимо, закаливает ее и образует железный характер; строгого нрава человек склонен к нежности тогда лишь, когда остается еще место добру посреди зла, и добро еще борется со злом, но ввиду совершенного развращения и зла никакое сострадание немыслимо; оно возможно разве только тогда, когда мы в своем сердце смешиваем *преступление с несчастьем*.

Какое презрение должен чувствовать автор к русскому человеку, у которого под-

линно есть в душе такое смешение, и который искони называет *преступника несчастным*.

Как личный характер, как характер племени, так и характер каждой церкви, в связи с усвоившим ее племенем, имеет и свои достоинства, и свои недостатки. Достоинства протестантизма достаточно выяснились в истории германского и англосаксонского племени. Пуританский дух создал нынешнюю Британию. Протестантское начало привело Германию к силе, к дисциплине и к единству. Но на оборотной стороне его есть такие недостатки, такие стремления религиозного самосознания, которые не могут быть нам сочувственны. Протестантство — как всякая духовная сила — склонно к падению именно в том, в чем полагает свои коренные духовные основы. Стремясь к абсолютной правде, к очищению верования, к осуществлению верования в жизни, оно слишком склонно уверовать в собственную правду и увлечься до гордого поклонения своей правде и до презрения к чужому верованию, которое *отождествляет с неправдою*. Отсюда, с одной стороны, опасность впасть в лицемерие и фарисейскую гордость. И подлинно, немало слышится из протестантского мира голосов, которые с горечью сознают, что лицемерие составляет язву строгого лютеранства. С одной стороны, начав с проповеди о терпимости, о свободе мысли и верования, протестантство в дальнейшем развитии своем выказало склонность к фанатизму особого рода, — к фанатизму гордого разума и самоуверенной праведности перед всеми прочими видами верования. Строгий протестантизм с презрением относится ко всякому верованию, которое представляется ему неочищенным, недуховным, исполненным суеверий и внешних обрядностей, ко всему, что он сам отбросил, как рабские узы, как детскую одежду, как принадлежность невежества. Создав для себя сам кодекс верований и обрядов, он считает свое исповедание исповеданием *избранных, просвещенных и разумных*, и всех держащихся старой церкви склонен считать людьми низшего рода, не умеющими возвыситься до истинного разумения. Это презрительное отношение к прочим верованиям, может быть, несознательно выражается в протестантстве; но оно слишком ощутительно для иноверцев. Никакая религия не свободна от большей или меньшей склонности к фанатизму; но смешно слышать, когда с обвинением в фанатизма обращаются к нам *лютеране*. У нас, при терпимости ко всякому верованию, *свойственной* национальному характеру нашему встречаются, конечно, отдельные случаи исключительности и узости церковных воззрений, но никогда не бывало и не можете быть ничего подобного тому презрению, с которым строгий лютеранин смотрит на непонятные для него, но для нас исполненные глубокого духовного значения принадлежности нашей церкви и свойства нашего верования.

Ни в чем так явственно, как в церкви, не ощущается различие между общественным духом и складом англосаксонского и, например, русского племени. В английской церкви сильнее, чем где-либо, является у русского человека такая мысль: много здесь хорошего, но все-таки как я рад, что родился и живу в России. У нас в церкви можно забыть обо всех сословных и общественных различиях, отрешиться от мирского положения, слиться совершенно с народным собранием перед лицом Бога. Наша церковь большей частью и создана на всенародные деньги, так что рубль от гроша различить невозможно; во всяком случае, церковь наша есть всенародное дело и всенародное достояние. Оттого она всем нам вдвое дороже, что, входя в нее, последний нищий чувствует, совершенно так же, как и первый вельможа, что это *его* церковь. Церковь — единственное место (какое счастье, что у нас есть такое место!), где последнего бедняка в рубище (никто не спросит: зачем ты пришел сюда, и кто ты такой? где богатый не может сказать бедному: твое место не возле меня, а сзади. Здесь — войдите в церковь, посмотрите на церковное собрание. Оно благоговейно, оно, может быть, торжественно; но это — собрание леди и джентльменов, из которых каждое лицо имеет свое место, ему особливо присвоенное, а богатые люди и важные в своем околотке — имеют места отделенные и украшенные, точно ложи. Можно ли, со стороны глядя, удержаться от мысли, что церковное собрание здесь лишь видоизменение общественного собрания, и что в нем есть место только так называемым в обществе «порядочным людям»? Все молятся по своим книжкам, но как у каждого в руках своя книжка, так видно, что каждый желает быть и перед Богом — сам по себе, не теряя своей

индивидуальности. Говорят, что в последние 20—30 лет совершилась еще в этом отношении заметная перемена; места в церкви большей частью открытые, т. е. не отгороженные наглухо, и доступ к ним стал свободнее, чем прежде; а в прежнее время, особливо в провинции, и места в церквях устраивались закрытыми или отдельными стойками так, чтобы владелец каждого места мог молиться *спокойно*, уединенно, не смущаясь никаким соседством. Как ясно отражается в этом расположении церковном история здешнего феодального общества, и сама история здешней церковной реформы! Nobility и gentry составляют все и все ведут за собой, потому что всем обладают и все к себе притягивают. Все должно быть куплено или взято с бою, даже право иметь место в церкви. Самое *священнослужение* — есть право известного рода, полагаемое в цену. Места пасторские, с правом на известный доход или окладное содержание, составляют в Англии принадлежность вотчинного права, *патронатства*, и выбор на место составляет достояние — или частных землевладельцев, или короны, в силу не столько государственного, сколько феодального владельческого права. Оттого и пастор, посреди народа, независимо от народа назначенный и независимый от народа в своем содержании, является среди народа тоже в виде князя, свыше поставленного. Церковная должность прежде всего представляется привилегией (*preferment*) и достоянием; и стыдно сказать: это достояние служит предметом торга. Места главных священников (*incumbents*) могут быть сдаваемы за известную цену, сложенную из капитализации дохода, так же как сдаются места стряпчих, нотариусов, маклеров и т. п. В любой английской газете, в особом отделе объявлений о так называемых *preferments*, вы встретите ряд предложений купить место священника, с описанием доходных статей: расхваливается место с его удобствами для жизни, описывается дом, местоположение, означается доход и предлагается цена с предупреждением, что нынешний *incumbent* стар, таких-то лет, и, вероятно, недолго будет пользоваться своим положением. Для переговоров указано обращаться туда-то. В Лондоне издается даже особенный журнал («*The Church preferment registrar*»), с подробным описанием всех статей, угодий и доходов каждого места, для сведения и расчета желающих получить его за известную сумму.

Говорят, что в политическом смысле благотельно, когда всякое право, личное или общественное, достается не иначе как с бою. Может быть, всякое иное, только никак не право на молитву общественную в церкви.

Не мудрено, что совесть общественная не может удовлетвориться таким церковным устройством, и что Англия,— страна установленной государственной церкви, классическая страна ученого богословия и прений о вере, - стала со времени реформы страной диссептеров всякого рода. Религиозная и молитвенная потребность в массе народной, не находя себе места и удовлетворения в установленной церкви, стала искать исхода в вольных самоуправных церковных собраниях и в разнообразных сектах. Деление церковного обряда здесь непомерное между жителями самого незначительного местечка. Самая установленная церковь делится на три партии, и сторонники каждой из них (так называемые Высокой, Низкой и Широкой церкви) имеют обыкновенно свою церковь и не ходят в чужую. В небольшой деревне, где не более 500 человек постоянного населения, существуют нередко три церкви англиканские и, кроме того, три церкви методистов трех разных толков, которые, различаясь в очень тонких и капризных подробностях, отрешаются от общения между собой. Особливая церковь — для первоначальных или Веслеевых методистов, потом для конгрегационистов, потом для так называемых библейских христиан: последние те же методисты, но отделились несколько лет тому назад только из-за того, что полагают, г в несогласии с прочими, невозможным иметь женатых в звании церковных евангелистов. Вот сколько церквей — и капитальных, красивых и обширных церквей в одной деревне! Все эти секты и собрания отличаются особенностями вероучений, иногда очень тонкими и капризными, или совсем дикими, но помимо догматических разностей, во всех выражается одно и то же стремление к вольной всенародной церкви, и многие из них проникнуты ожесточенной ненавистью к установленной церкви и к ее служителям. Кроме отдельных сект посреди самой установленной церкви образовалась издавна многочисленная партия во имя

вольного церковного общения — free church move me nil. Частные люди и отдельные общества употребляют свои средства для доставления простому народу возможности участвовать в богослужении: для этого приходится строить отдельные церкви, или нанимать отдельные помещения, театры, сараи, залы и т. п. это движение произвело уже ощутительную реакцию в обычаях самой установленной церкви, побудив ее шире раскрыть свои двери. Но не странно ли, что здесь приходится брать с собою то, что у нас от начала вольно как воздух, которым мы дышим?

Как часто случается у нас в России слышать странные речи о нашей церкви от людей, бывавших за границей, читавших иностранные книги, любящих судить красно с чужого голоса, или просто от людей наивных, которые увлекаются идеальным представлением (мимо действительности). Эти люди не находят меры похвалам англиканской или германской церкви и англиканскому духовенству, не находят меры осуждения нашей церкви и нашему духовенству. *Как* не верить им - там все живая деятельность, а у нас мертвечина, грубость и сон. Там дела, а у нас голая обрядность и бездействие. Не мудрено, что многие говорят так. Между людьми ведется, что по платью встречают человека. Говорят: по уму провожают; но, чтоб узнать ум и почувствовать дух, надо много присмотреться и поработать мыслью, а по платью судить не трудно. Составишь себе готовое впечатление и так потом при нем и останешься. Притом есть много людей, для которых первое дело, первый и окончательный решитель впечатления — внешнее благоустройство, манера, ловкость, чистота, респектабельность. В этом отношении, конечно, есть на что полюбоваться хотя бы в английской церкви, есть о чем иногда печалиться в нашей. Кому не случалось встречать светское, а иной раз, к сожалению, и духовное лицо, из бывших за границую, с жаром выхваляющее здешнюю простоту церковную и осуждающее нашу родимую «за незрелость». Грустно бывает слушать такие речи, как грустно видеть сына, когда он, прожив в фешенебельном кругу, посреди всех тонкостей столичной жизни, возвращается в деревню, где провел когда-то детство свое и смотрит с презрением на неприветливую обстановку и на простые, пожалуй, грубые, обычаи родной семьи своей.

Мы удивительно склонны, по натуре своей, увлекаться прежде всего красивой формой, организацией, внешней конструкцией всякого дела. Отсюда — наша страсть к подражаниям, к перенесению на свою почву для тех учреждений и форм, которые поражают нас за границей внешней стройностью. Но мы забываем при этом, или вспоминаем слишком поздно, что всякая форма, исторически образовавшаяся, выросла в истории из исторических условий и есть логический вывод из прошедшего, вызванный *необходимостью*.

Истории своей никому нельзя ни переменить, ни обойти; и сама история, со всеми ее явлениями, деятелями, сложившимися формами общественного быта, есть произведение духа народного, подобно тому, как история отдельного человека есть в сущности произведение живущего в нем духа. То же самое сказать должно о формах церковного устройства. У всякой формы есть своя духовная подкладка, на которой она выросла; часто прельщаемся мы формою, не видя этой подкладки, но если бы мы ее видели, то иной раз не задумывались бы отвергнуть готовую форму при всей ее стройности, и с радостью остались бы при своей старой и грубой форме, или бесформенности, — пока своя у нас духовная жизнь не выведет свою для нас форму. Дух, вот что существенно во всяком учреждении, вот что следует охранять дороже всего от кривизны и смешения.

Наша церковь искони имела и доныне сохраняет значение всенародной церкви и дух любви и безразличного общения. Верю народ наш держится доныне посреди всех невзгод и бедствий, и если что может поддержать его, укрепить и обновить в дальнейшей истории, так это вера, и одна только вера церковная. Нам говорят, что народ наш невежда в вере своей, исполнен суеверий, страдает от дурных и порочных привычек; что наше духовенство грубо, невежественно, бездейственно, принижено и мало имеет влияния на народ. Все это во многом справедливо, но все это — явления *несущественные*, а случайные и временные. Они зависят от многих условий, — и прежде всего от условий экономических и политических, с изменением коих и явления эти рано или поздно изменятся. Что же существенно? Что же

принадлежит духу? Любовь народа к церкви, свободное сознание полного общения в церкви, понятие о церкви как общем достоянии и общем собрании, полнейшее устранение сословного различия в церкви и общение народа с служителями церкви, которые из народа вышли и от него не отделяются ни в житейском быту, ни в добродетелях, *ни в самых недостатках*, с народом и стоят и падают. Это такое поле, на котором можно возрастить много добрых плодов, если работать вглубь, заботясь не столько об *улучшении быта*, сколько об *улучшении духа*, не столько о том, чтобы число церквей *не превышало потребности*, сколько о том, чтобы *потребность в церкви не оставалась без удовлетворения*. Нам ли зариться с завистью, издалека и по слуху, хоть бы на протестантскую церковь и ее пастырей? Избави нас Боже дожидаться той поры, когда наши пастыри утвердятся в положении чиновников, поставленных над народом, и станут *князьями* посреди людей своих, в обстановке светского человека, в усложнении потребностей и желаний посреди народной скудости и простоты.

Вдумываясь в жизнь, приходишь к тому заключению, что для каждого человека, в ходе его духовного развития, всего дороже, всего необходимее - сохранить в себе неприкосновенным простое, природное чувство человеческого отношения к людям, правду и свободу духовного представления и движения. Это — неприкосновенный капитал духовной природы, которым душа охраняется и обеспечивается от действия всяких *чиновных* форм и искусственных теорий, растлевающих незаметно простое нравственное чувство. Как ни драгоценны, во многих отношениях, эти формы и теории, они могут, привившись к душе, совсем извратить и погубить в ней простые и здравые представления и ощущения, спутать понятие о правде и неправде, подточить самый корень, на котором вырастает здоровый человек в духовном отношении к миру и к людям. Вот что существенно, и вот что мы так часто убиваем в себе из-за форм, совсем не существенных, которыми обольщаемся. Сколько из-за этого пропадает у нас и людей и учреждений, фальшиво извращенных фальшивым развитием,— а между тем в церковном учреждении всего для нас дороже этот корень. Боже избави, чтоб и он когда-нибудь был у нас подточен криво поставленной церковной реформой.

Протестанты ставят нам в упрек формальность и обрядность нашего богослужения, но когда посмотришь на их обряд, то невольно отдаешь и в этом отношении предпочтение нашему обряду; чувствуешь, как наш обряд прост и величествен в своем глубоком, таинственном значении. Священнослужитель поставлен в нашем обряде так просто, что от него требуется только благоговейное внимание к произносимым словам и совершаемым действиям; в устах его и через него священные слова и обряды сами за себя говорят — и как глубоко и таинственно говорят душе каждого и соединяют все собрание в одну мысль и в одно чувство! Оттого самый простой и неискусный человек может, не подстраивая себя, не употребляя искусственных усилий, совершать молитвенное действие и вступать в молитвенное общение со всей церковью. Протестантский молитвенный обряд, при всей наружной простоте своей, требует от священнослужителя молитвенного действия в известном тоне. Оттого в этом обряде только глубоко духовные или очень талантливые люди могут быть просты; остальные же, — т. е. огромное большинство, принуждены подстраивать себя и прибегать к аффектации, которая именно в протестантских храмах чаще всего встречается и производит на непривычного человека тягостное впечатление. Когда видишь проповедника, как он, стоя посреди храма, лицом к размещенному чинно на скамьях собранию, произносит молитвы, воздевая глаза к небу, сложив руки в известный всеми употребляемый вид, и придает своей речи неестественную интонацию,— становится неловко за него; думается, как должно быть ему неловко! Еще ощутительнее становится неловкость, когда, окончив обряд, он всходит на кафедру и начинает свою длинную проповедь, оборачиваясь от времени до времени назад, чтобы выпить из стакана воды и собраться с духом. И в этой проповеди редко случается слышать действительно живое слово,— когда проповедник действительно духовный человек или талант. Говорят большей частью *работники* церковного дела чрезвычайно натянутым голосом, с крайней аффектацией, с

сильными жестами, поворачиваясь из стороны в сторону, повторяя на разные лады общие, всеми употребляемые фразы. Даже, когда читают по книге, что нередко случается, они прибегают к известным телодвижениям, интонациям и расстановкам. Нередко случается, что проповедник, произнося некоторые слова и фразы, кричит и ударяет кулаком по кафедре, чтобы придать выразительность своей речи... Здесь чувствуешь, как верно применилась наша церковь к природе человеческой, не поместив проповеди в состав богослужебного обряда. Весь наш обряд, сам по себе, составляет лучшую проповедь, тем более действительную, что всякий принимает ее не как человеческое, а как Божие слово. И церковный идеал нашей проповеди, как живого слова, есть *учение* веры и любви, от божественных писаний, а не возбуждение чувства, как необходимое действие каждого священнослужителя на собравшихся в церковь для молитвы.

Говорят, что обряд — неважное и второстепенное дело. Но есть обряды и обычаи, от которых отказаться — значило бы отречься от самого себя, потому что в них отражается жизнь духовная человека или всего народа, в них сказывается целая душа. В разности обряда выражается всего явственнее коренная и глубокая разность духовного представления, таящаяся в бессознательных сферах духовной жизни, — та самая разность, которая препятствует слиянию или полноте взаимного сочувствия между разноплеменными народами и составляет основную причину разности церквей и вероисповеданий. Отрицать, с отвлеченной, космополитической точки зрения, действие этой притягательной или отталкивающей силы, приравнивая ее к предрассудку, — значило бы тоже, что отрицать силу сродства (*wahlverwandschaft*), действующую в личных между людьми отношениях.

Как знаменательна, например, у разных народов разница в погребальном обряде и в обращении с телом покойника! Южный человек, итальянец, бежит от своего мертвеца, спешит как можно скорее очистить от него дом свой и предоставляет посторонним заботу о его погребении. Напротив того, у нас, в России, характерная -народная черта — религиозное отношение к мертвому телу, исполненное любви, нежности и благоговения.

Из глубины веков отзывается до нашего времени, исполненный поэтических образов и движений, плач над покойником, превращаясь, с принятием новых религиозных обрядов, в торжественную церковную молитву. Нигде в мире, кроме нашей страны, погребальный обычай и обряд не выработался до такой глубокой, можно сказать, виртуозности, до которой он достигает у нас; и нет сомнения, что в этом его складе отразился наш народный характер, с особенным, присущим нашей натуре, мировоззрением. Ужасны и отвратительны черты смерти повсюду, но мы одеваем их благолепным покровом, мы окружаем их торжественной тишиной молитвенного созерцания, мы поем над ними песнь, в которой ужас пораженной природы сливается воедино с любовью, надеждой и благоговейной верой. Мы не бежим от своего покойника, мы украшаем его в гробе, и нас тянет к этому гробу — взглянуть в черты духа, оставившего свое жилище; мы поклоняемся телу и не отказываемся давать ему последнее целование, и стоим над ним три дня и три ночи с чтением, с пением, с церковной молитвой. Погребальные молитвы наши исполнены красоты и величия; они продолжительны и не спешат отдать земле тело, тронутое тлением, — и когда слышишь их, кажется, не только произносится над гробом последнее благословение, но совершается вокруг него великое церковное торжество в самую торжественную минуту бытия человеческого! Как понятна и как любезна эта торжественность для русской души! Но иностранец редко понимает ее, потому что она — совсем ему чужая. У нас чувство любви, пораженное смертью, расширяется в погребальном обряде; у него — оно болезненно сжимается от того же обряда и поражается одним ужасом.

Немец-лютеранин, живший в Берлине, потерял в России горячо любимую сестру православную. Когда он приехал к нам, накануне погребения, и увидел любимую сестру, лежащую в гробе, ужас поразил его, сердце его сжалось, и видно было, что чувство любви и благоговения уступило в нем место отвращению, с которым он присутствовал при прощании с мертвым телом и должен был сам принять в нем участие... В этом, как и во многом другом, немец не может понять нас, покуда не поживет с нами и не войдет в глубину духовной

нашей жизни. От этой же, кажется, причины ничто столько не возмущает лютеранина в нашей церкви, как поклонение св. мощам, которое для нас самих, по природе нашей, кажется так просто и естественно,— когда мы и своим покойникам кланяемся, и их тело обнимаем и чествуем в погребении. Он, не живя нашей жизнью, не видит в этом чествовании ничего, кроме дикого суеверия, а для нас — это движение и дело любви, самое природное и простое.

Трудно ему понять нас, так же как нам дико и противно слышать о возникшей недавно в германском и в английском обществе агитации, требующей введения нового погребального обряда. Они хотят, чтобы мертвые не предавались земле, а сжигались в особо устроенных печах,— и требуют этого с утилитарной и гигиенической точки зрения. Пропаганда эта усиливается, собираются митинги, составляются общества, устраиваются на счет частных лиц усовершенствованные печи, производятся химические опыты, сочиняются траурные марши, которыми должно сопровождаться сожигание... Голоса растут, крики усиливаются, во имя науки, во имя просвещения, во имя блага общественного. Из какого дальнего мира, из какого быта доносятся до нас эти звуки — и какой этот мир чужой для нас, какой неприятный и холодный! Нет, не дай Бог умереть в том краю, на чужбине, вдали от матери сырой земли русской!

Кто русский человек — душой и обычаем, тот понимает, что значит храм Божий, что значит церковь для русского человека. Мало самому быть благочестивым, чувствовать и уважать потребность религиозного чувства;— мало для того, чтобы уразуметь смысл церкви для русского народа и полюбить эту церковь как свою, родную. Надо жить народной жизнью, надо молиться заодно с народом, в одном церковном собрании, чувствовать одно с народом биение сердца, проникнутого единым торжеством, единым словом и пением. Оттого многие, знающие церковь только по домашним храмам, где собирается избранная и наряженная публика, не имеют истинного понимания своей церкви и настоящего вкуса церковного, и смотрят иногда равнодушно или превратно в церковном обычае и служении на то, что для народа особенно дорого и что в его понятии составляет красоту церковную.

Православная церковь красна народом, Как войдешь в нее, так почувствуешь, что в ней все едино, все народом осмыслено и народом держится. Войдите в католический храм, как в нем все кажется пусто, холодно, искусственно православному собранию. Священник служит и читает сам по себе, как бы поверх народа и отлученный от народа. Он сам по себе молится по своей книжке; народ молится по своим, приходит и уходит, совершив свои моления и дождавшись того или другого церковного действия. На алтаре совершается священнодействие; народ присутствует лишь при нем, но как будто не содействует ему общею молитвой. Обряд не говорит нашему чувству, и мы чувствуем, что красота, какая может быть в нем, не наша красота, а чужая. Все движения обряда, механически расположенные, кажутся нам странными, холодными, невыразительными; очертания, образы одежды — неблагообразными; звуки церковного речитатива — нестройными и бездушными; пение на чужом языке, в котором не распознаешь слов — не гимном народного собрания, не воплем, льющимся из души,— но концертом, искусственно устроенным, который покрывает собой богослужение, но не сливается с ним. Душа наша тоскует здесь по своей церкви, как тоскует между чужими по родине. То ли дело у нас: вот красота неописанная, красота, понятная русскому человеку, красота, которую он душу готов положить, так он её любит. Русское церковное пение — как народная песнь, льется широкой, вольной струей из народной груди, и чем оно вольнее, тем полнее говорит сердцу. Напевы у нас одинаковые с греками, но русский народ иначе поет их, потому что положил в них свою русскую душу. Кто хочет послушать, как эта душа сказывается, тому надобно идти не туда, где орудуют голосами знаменитые хоры и капеллы, где исполняется музыка новых композиторов и справляется обиход по новым официальным переложениям. Ему надо слушать пение в благоустроенном монастыре, или в одной из тех приходских церквей, где сложилось добрым порядком хоровое пение; там услышит он, каким широким, вольным потоком выливается праздничный ирмос из русской груди, какой торжественной поэмой выпевается догматик, слагается стихира с жанонархом, каким одушевлением радости проникнут канон

Пасхи или Рождества Христова. Тут оглянемся и увидим, как отзывается каждое слово песни в народном собрании, как блесит оно в поднятых взорах, носится над склоненными головами, отражается в припевах, несущихся отовсюду, потому что всякому церковному человеку знакомы с детства и слова, и напевы, и во всяком душа поет, когда он их слышит. Богослужение стройное, *истовое* — действительно праздник русскому человеку, и вне церкви душа хранит глубокое ощущение, которое отражается в ней, даже при воспоминании о том или другом моменте,— русская душа, привыкшая к церкви и во всякую минуту готовая воспрянуть, когда внутри ее послышится песнь пасхального или рождественского канона, с мыслью о светлой заутрене, или любимый напев праздничного ирмоса, или «Всемирная слава» с ее потрясающим «Дерзайте»... Подлинно, это те звуки, о которых сказал поэт, что им ... без волненья Внимать невозможно... Не встретит ответа Средь шума мирского Из пламя и света Рожденное слово, Но в храме, средь боя, И где я ни буду, Услышав его, я Узнаю повсюду...

А у того, кто с детства привык к этим словам и звукам, сколько от них поднимается всякий раз воспоминаний и образов из той великой поэмы прошлого, которую каждый прожил и каждый носит в себе... Счастлив, кто привык с детства к этим словам, звукам и образам, кто в них нашел красоту и стремится к ней, и жить без нее не может, кому все в них понятно, все родное, все возвышает душу из пыли и грязи житейской, кто в них находит и собирает растерянную по углам жизнь свою, разбросанное по дорогам свое счастье. Счастлив, кого с детства добрые и благочестивые родители приучили к храму Божию и ставили в нем посреди народа молиться всенародной молитвой, праздновать всенародному празднику. Они собрали ему сокровище на целую жизнь, они ввели его подлинно в разум духа народного и в любовь сердца народного, сделав и для него церковь родным домом и местом полного, чистого и истинного соединения с народом.

Что ж сказать о множестве затерянных в глубине лесов и в широте полей наших храмов, где народ тупо стоит в церкви, ничего не понимая, под козлогласованием дьячка или бормотанием клирика?

Увы! не церковь повинна в этой тупости и не бедный народ повинен:— повинен ленивый и несмыслящий служитель церкви; повинна власть церковная, невнимательно и равнодушно распределяющая служителей церкви; повинна, но местам, скудость и беспомощность народная. Благо тому человеку, в ком зажжется на ту нору искра любви и ревность о жизни духовной и кто успеет вывести заброшенную церковь в свет благолепия и нения. Подлинно, он осияет светом страну и сень смертную, он воскресит умерших и поверженных, спасет души от смерти и покроет множество грехов... Оттого-то русский человек так охотно и так много жертвует на церковное строение, на созидание и украшение храмов. Как криво судят те, кто осуждает его за это рвение, а таких голосов слышится уже ныне не мало. Это щедрое рвение приписывают то к грубости и невежеству, то к ханжеству и лицемерию. Говорят: не лучше ли было бы употребить эти деньги на «образование народное», на школы, на благотворительные учреждения? И на то, и на другое жертвуется своим чередом, но то жертва совсем иная, и благочестивый русский человек со здравым русским смыслом не один раз призадумается прежде, чем развяжет кошель свой на щедрую дачу для формально образовательных и благотворительных учреждений.

То ли дело Церковь Божия! Она сама за себя говорит; она — живое, всенародное учреждение. В ней одной и живому, и умершему отрадно. В ней одной всем легко, свободно, в ней душа всяческая, от мала до велика, веселится и радуется, и празднует от тяжелой страды; в ней и белому и серому человеку, и богатому и бедному одно место. Разукрашена она паче царской палаты — дом Божий, а всякий из малых и бедных стоит в ней, как *в своем* дому; каждый может назвать церковь своей, потому что церковь на народные рубли и, больше того, на народные гроши строена и народом держится. Всем в ней приют и молитва с утешением, и то учение, которое дороже всего русскому человеку. Вот что бессознательно и сознательно сразу сказывается в русской душе о церкви и заставляет русского человека жертвовать на церковь без оглядки и без рассуждения. Русский человек чувствует, что в этом

деле не ошибается, и дает верно и свято на верное и святое дело.

ВЕРА

Здесь, на земле, подлинно мы ходим *верою*, а не видением, и жестоко ошибается тот, кто думает, что погасил в себе веру, и хочет жить отныне одним видением. Как бы высоко ни поставил себя над миром ум человеческий, он не разделен с душой, а душа все стремится веровать, и веровать безусловно: без веры прожить нельзя человеку. И не жалкий ли это обман, что человек, отвергая веру в действительное, в существующее, в то, что сказывается душе его реальной истиной, делает предмет своей веры теорию и формулу, ее чествует, ей, как идолу, поклоняется, ей готов принести в жертву себя самого и целый мир в душе своей, свободу свою, и всех своих ближних. Теория и формула, какие бы ни были, не могут заключать в себе безусловное, и каждая из них, возникнув в уме человеческом, есть, по необходимости, нечто неполное, сомнительное, условное и лживое. Что выше меня неизмеримо, что от века было и есть, что неизменно и бесконечно, чего не могу я обнять, но что *меня объемлет и держит* — вот, во что хочу я верить как в безусловную истину, — а не в дело рук своих, не в творение ума своего, не в логическую формулу мысли. Бесконечность вселенной и начало жизни невозможно вместить в логическую формулу. Бедный человек, кто, составив себе такую формулу, хочет с ней пройти через хаос бытия: — хаос поглотит его вместе с жалкой его формулой. Сознание своего бессмертного я, вера в Единого Бога, ощущение греха, искание совершенства, жертва любви, чувство долга — вот истины, в которые душа верит, не обманываясь, не идолопоклонствуя перед формулой и теорией.

Какое таинство — религиозная жизнь народа такого, как наш, оставленного самому себе, неученого! Спрашиваешь себя: откуда вытекает она — и когда пытаешься дойти до источника — ничего не находишь. Наше духовенство мало и редко *учит*, оно служит церкви и исполняет требы. Для людей неграмотных Библия не существует; остается служба церковная и несколько молитв, которые, передаваясь от родителей к детям, служат единственным соединительным звеном между отдельным лицом и церковью. И еще оказывается в иных, глухих местностях, что народ не понимает решительно ничего, ни в словах службы церковной, ни даже в «*Отче наш*», повторяемом нередко с пропусками или с прибавками, отнимающими всякий смысл у слов молитвы.

И однако — во всех этих невоспитанных умах воздвигнут, — как было в Афинах, — неизвестно кем, алтарь *Неведомому Богу*; для всех — действительное присутствие воли Провидения во всех событиях жизни — есть факт столь бесспорный, так твердо укоренившийся в сознании, что, когда приходит смерть, эти люди, коим никто никогда не говорил о Боге, отверзают Ему дверь свою, как известному и давно ожидаемому Гостю. Они в буквальном смысле *отдают Богу душу*.

«В начале было слово» — так благовествует Евангелист. Великий германский писатель захотел поправить эту мысль богослова своим философским анализом, заставив над ней задуматься Фауста. «Нет», — говорит Фауст: «в начале было *дело*». Когда бы Гёте писал своего Фауста в наше время, Фауст сказал бы, вероятно: «в начале был *факт*».

Факт — это излюбленное понятие новейшей материальной философии, ячейка, из которой она строит вселенную, столп и основание всего того, что она называет *истиной*.

Какая неправда! Истина есть нечто абсолютное, и только абсолютное может быть основанием жизни человеческой. Все остальное не твердо, все остальное исчезает в колеблющихся образах и очертаниях, стало быть, не может служить основанием. Факт есть нечто существенно реальное, неразрывно связанное с условиями материальной природы, и в ней только мыслимое. Но едва мы пытаемся отделить этот факт от материальной его среды, определить духовное его начало, уловить его истинный разум, — как уже теряемся в сети предположений, гипотез, недоумений, возникающих в уме каждого отдельного мыслителя, — и чувствуем свое бессилие познать его *истину*. Вот почему история представляет нам такое смешение представлений о каждом событии, о каждом историческом деятеле, когда мы

пытаемся анализировать духовное значение того или другого. Самая высшая добросовестность исторического исследования может стремиться лишь к начертанию верной картины событий и действий в связи с современными им условиями жизни и деятельности, к восстановлению факта в полной по возможности материальной его обстановке, с исследованием причин, последствий и побудительных причин исторической деятельности. Очевидно, что наука здесь не может обойтись без художника, и всякий подлинный историк должен быть художником в труде своем. Для художества необходим идеал; следовательно, историк, в оценке событий и действующих лиц, непременно имеет в виду идеал, черты коего могут быть не одинаковы у каждого. Каждый склонен увлекаться своим идеалом, то есть своим представлением о совершенстве в побуждениях, делах и учреждениях человеческих. К событиям, во взаимной их связи, историк относится критически, и характер критики определяется сложившимся у каждого мирозерцанием. Вот почему так различны и часто противоречивы суждения и приговоры исторической критики о знаменитейших деятелях и важнейших событиях истории. Кого один возвышал вчера, того другой сегодня развенчивает, и наоборот, кого прежде историческая наука выставляла извергом, в том после находит черты нравственного превосходства. Едва ли когда будет конец этим колебаниям исторической критики, — ибо самый идеал ее представляет колеблющиеся черты и с каждым поколением ученых художников изменяется.

Несравненно раньше прагматической истории из глубины народного сознания и творчества народного возникла *легенда* и продолжает твориться наряду с историей. Она служит сама источником для истории и предметом исторической критики, но невзирая ни на какую критику, остается драгоценным достоянием народа, сохраняя в себе всю свежесть непосредственного представления. Народ понимает ее и любит ее, — и, прибавим, продолжает творить ее, не только потому, что склоняется к чудесному, но потому еще, что чувствует в ней глубокую истину, абсолютную истину идеи и чувства, — истину, которой не может дать ему никакой — самый тонкий и художественный — критический анализ фактов. Тех героев народной поэмы, которых развенчивает история, народ продолжает чтить; в них драгоценны для него черты идеала — идеала силы, добродетели, святости, ибо в этих идеалах, а не в людях, не в событиях, не в преходящих образах жизни, народ чувствует *абсолютную истину*. Ученые не хотят понять, но народ *чувствует душой*, что эту абсолютную истину нельзя уловить материально, выставить осязательно, определить числом и мерою, — но в нее можно и должно *веровать*, ибо абсолютная истина доступна только вере. Ничего нет совершенного, ничего — цельного, ничего — единого в делах, чувствах и побуждениях человеческих, ибо всякий человек раздвоен сам в себе и только стремится к объединению, падая и колеблясь на каждом шагу. Итак, если подойдем с анализом к каждому подвигу, к каждому событию, к каждому историческому лицу, — никто его не выдержит, и героев не будет ни единого. Каждому подвигу предшествует такая цепь нравственных колебаний, его объемлет такая сеть разнохарактерных ощущений, побуждений, случайных событий, направляющих, изменяющих, рассекающих волю человеческую, — что для пытливого ума не остается и места подвигу, как цельному, свободному проявлению воли, направленной к идеалу. Но в народном представлении подвиг является именно цельным и живым проявлением силы: так верует народ, и без этой веры жить не может, ибо на ней вся жизнь человека держится, посреди рыдания и жалости, и горя, и лжи, коею она материально наполнена.

Вот почему заблуждаются те, которые хотят разложить эту веру в народе, отнять ее у него, под предлогом заботы о мнимой исторической истине. Людям необходима вера в идеал истины и добра, но как сохранить эту веру, как поддержать ее, если она не воплощается в *живом образе*! Отнять у людей этот образ, значит — отнять самую веру, которая в нем выражается, веру в абсолютную истину, в цельное совершенство. Вот почему, между прочим, любимое но преимуществу чтение русского народа жития святых, Четья mineя, вся составленная из живых образов подвига, добродетели, нравственного совершенства. Каждый из этих героев святости был — человек, со всеми слабостями человеческой природы, со

всяким колебанием мысли, побуждения и воли, со всей низостью падения человеческого, и если б можно было разложить душу его, мы бы увидели в ней всю тайну первородного греха и все бессилие борьбы человека с самим собою. Но из этой борьбы вышел он победителем, но борьба эта совершалась во имя высших идеалов совершенства, коего мера не на земле, а на небе, в области абсолютного. И этот подвиг его борьбы описала живыми чертами подобная, сочувственная душа благочестивого описателя, которая вложила в описание живую любовь к той же истине, живое стремление к тому же идеалу. Вот в чем народ чувствует истину — и не сомневается, и верует, в то время, когда пытливая философия ученого агностика пытается факты и, думая познать в них материальную истину, в то же время о духовной истине, об истине, которая сама отзывается в верующей душе,— насмешливо спрашивает: «Что есть истина?»

В мифе Прометея, связанного Зевсом и пригвожденного к кавказскому утесу, нельзя не распознать идею новейшего скептицизма, в сопоставлении с идеей Всемогущего Бога, Создателя вселенной. Это протест гордого духа против общего верования в бытие Божие, отрицание невыносимого для гордости чувства стыдения (*reverentia*) перед Божеством, покорности и поклонения Божеству. Нужды нет, что от Божества взят, у Божества похищен священный огонь, которым живет, согревается, оплодотворяется человечество,— человек знать этого не хочет и, владея Божественным огнем, хочет жить в отчуждении от Божества, самовластно.

Сфинкс древней басни сидел на распутье и предлагал каждому путнику свою загадку. Кто не умел разгадать ее, тот был жертвой сфинкса и повергался в пропасть: одолеть чудовище мог лишь мудрец, находивший разгадку.

Что такое сфинкс в нашей жизни? Вся наша жизнь — бесконечная, с виду механическая цепь явлений и событий — (фактов). Друг друга сменяя, совокупляясь друг с другом, все они, пролетая мимо, несут на крыльях свои вопросы духу человеческому, и каждая минута, в коловращении времени, проводит свои, *современные* вопросы. Потребна мудрость духа, чтобы ответить на них, чтоб разрешить их: у кого нет ее, тот становится *рабом* фактов и явлений,— *рабом своего времени* — хотя бы и величался человек *современным*. Факты подавляют его со всех сторон, господствуют над ним,— и выходит человек *пошлых путей*, чувственного обычая (рутинер),—и до того доходит в слепом повиновении фактам, что исчезнет в нем наконец последняя искра света, просвещающего всякое существо, достойное имени и звания человеческого. Но когда человек остается верен лучшим духовным побуждениям своей природы, когда умеет различать основные начала духовной жизни и твердо стоит в духе, не повинувшись фактам, но господствуя над ними, тогда все они ровно ложатся около него в жизни, каждый на свое место: не они его одолели, но он одолел их...

Сфинкс древнего Египта не то, что сфинкс древней Греции, хотя и тот и другой выражает таинство души человеческой.

Египетский сфинкс — мирное существо получеловеческое, полуживотное. Перед храмом, перед царской гробницей, проходя длинным рядом сфинксов, человек ощущает близость Божества — и таинства смерти. Сфинкс является образом таинственного созерцания, погруженного в себя и в идею Божества: древние египтяне олицетворяли в нем Божество солнечного света.

Не таков сфинкс *нового* мира, создание Греческой фантазии. Это существо демонического происхождения, порождение чудовищного Тифона и Ехидны, олицетворение не светлого Божества, но темной силы Тартара,— существо зверское, хищное, губительное. И в нем выражается таинство, но не таинство погруженного в себя созерцания,— а таинство страстной, отрицательной, насильственной и разрушительной мысли.

И этот сфинкс доныне не перестает задавать человечеству страшные, таинственные загадки,— загадки неразрешимые. Тысячи умов пытаются найти решение, разгадать загадку жизни и религии,— и не могут. Но каждая и безуспешная попытка решения — только погружает мысль и чувство в новые бездны, и каждая загадка порождает лишь сотни и тысячи новых неразрешимых загадок,— и перед бедным человечеством разверзается, в виду

чудовища, бездна гибели, и оно ринется в бездну, если не остановится на камне простой твердой веры и ясного мышления...

Великий вопрос, не prestaющий смущать ум и совесть во всем человечестве — вопрос об осуществлении в отношениях человеческих правды и любви, заповеданных Христом, полагаемых христианской Церковью в основание своего учения. Нет разума, который нашел бы ключ к разрешению этого противоречия, нет совести, которая успокоилась бы на нем. Проходя мыслью кровавую историю войн, раздоров, насилия, неправды, невежества и суеверия, длящуюся с начала мира до сегодняшнего дня — и в общественной и в частной жизни, всякий с ужасом спрашивает себя — где же и в чем же исполнение закона Христова посреди того ада, в котором живем мы и движемся? Где выход из того состояния, в котором самая религия представляется как бы зеркалом лжи и лицемерия, показателем противоречий между делом и сознанием, сетью обрядов и формальностей, служащих покровом прельщаемой совести и мнимым оправданием неправды? Есть избранные, есть люди правды, смиренные сердцем, есть дела любви и разума, на которых мысль отдыхает и временно успокаивается; но, обозревая совокупность жизни, видит начальства и власти, забывающие свое призвание, видит несправедливые прибыли в чести и славе, богатство, нажитое хищением, поглотившее самую власть и владеющее миром, видит беззаконие, самоуверенное под покровом наружного благочестия, видит тысячи и миллионы, приносимые в жертву богу войны, идолам вражды и насилия, видит наконец бесчисленные массы, прозябающие без сознания, раздираемые нуждой, живущие и умирающие в страдании. Где же, спрашивает, царство Христово, царство любви и правды, где же действенная сила религии, — где цель и конец бедственной человеческой жизни?

Сколько раз слышалось и слышится — издревле и до наших дней ожидание золотого века в человечестве — и оканчивается оно разочарованием, если не безнадежностью — ибо христианин не может, не должен быть безнадежен. Ветхозаветные пророки изображают будущее состояние мира и благоденствия в человечестве. Христос принес на землю заповедь любви и мира, но не исполнение этой заповеди — исполнение, в котором не оставалось бы места свободе: эта самая заповедь, по Его слову, явилась мечом и должна была зажечь огонь в сердцах человеческих. И когда, по воскресении Его, от сердец, загоревшихся надеждою на обновление мира, послышался робкий вопрос: «Господи, не в это ли лето устроишь Ты царство Израилево?» — ответ Его был: «не дано вам разуметь времена и лета: их Господь положил во Своей власти». — Время, размеренное малыми долями у людей, безгранично у Господа Бога: у Него и тысяча лет как день, и день как тысяча лет.

И юная Церковь Христова первых столетий, посреди гонений, посреди пороков и бед, жила тою же надеждой на устроение царства Израилева: эта надежда на победу правды в человечестве была новой силой, которую внесло в безотрадный языческий мир христианство. Настало страшное время, когда эта сила, по-видимому, иссякла, и надежда перешла в отчаяние. Взятие и разрушение Рима Аларихом поразило весь христианский мир невыразимым ужасом; и верующие души омрачились сомнением: где же сила христианства, где же спасение? А мир языческий вопиял: все беды эти от новой религии Христовой. Тогда Блаженный Августин ободрил смущенную совесть и восстановил надежду христианскую своей одушевленной книгой *«О граде Божием»*, разъясняя людям судьбы Промысла Божественного в истории человечества и непреложность учения о царстве, еже не от мира сего.

С тех пор и донныне, в эпохи общественных бедствий, в разгаре насилия и разврата общественного, сколько раз поднимается тот же самый вопрос в христианском мире! И мы переживаем такое время, когда начинает, по-видимому, оживать давно прошедшее язычество, и поднимая голову, стремится превозмочь христианство, отрицая и догматы его, и установления, и даже нравственные начала его учения, — когда новые проповедники, подобно языческим философам древнего века, с злобной иронией обращают к остатку верующих горькое слово: «вот к чему привело мир ваше христианство! вот чего стоит ваша вера, искажившая природу человеческую, отнявшая у нее свободу похоти, в которой состоит счастье!» Что же, неужели погибает перед напором древнего язычества «победа, победившая

мир, вера наша»?

Нет, она остается целой, в святой Церкви, о коей Создавший ее сказал: «врата адовы не одолеют ее». Она хранит в себе ключи истины, и в наши дни, как и во все времена, всяк, кто от истины, слушает глас ее. В ней, под покровами образов и символов, содержатся силы, долженствующие собрать отовсюду рассеянное и обновить лицо земли. Когда это будет, ведает Един, времена и лета положивый в Своей власти.

А между тем, от самого начала Церкви, нетерпеливые сердца, гордые умы не перестают искать, помимо Церкви и вопреки ей, новых учений, долженствующих обновить человечество, исполнить закон любви и правды, водворить мир и благоденствие на земле. Поражаясь чудовищными противоречиями между учением Христа Спасителя и жизнью христиан, составляющих Церковь Христову,— они возлагают вину на Церковь с ее установлениями и, приходя к отрицанию существующей от начала христианства Церкви, думают утвердить вместо нее свое, очищенное, по мнению их, учение Христово, отрешенное от Церкви, выводимое по их усмотрению из отдельных текстов Евангелия.

Странное заблуждение. Люди, подверженные той же похоти и тому же греху, какому подвержено все окружающее их общество, люди одного со всеми естества, раздвоенного в себе, склонного хотеть, чего не делает, и делать, чего не хочет,— себя одних представляют едиными в духе и являются непризнанными учителями и пророками. Похоже на то, как бы они одни воображали себя стоящими на неподвижной точке, тогда как весь мир и они вместе с миром кругом обращаются. Начиная с разрушения закона, сами они не в силах создать новый закон из тех частей и обрывков цельного учения, которое отвергли. Отрицая Церковь,— они приходят, однако, к тому, что хотят создать свою церковь с своими проповедниками и служителями, и если успевают в том, повторяется на них то же, что они осуждали и против чего восставали,— только с новым умножением лжи и лицемерия, и безумной гордости, возвышающейся над миром. Гордость ума, с презрением к людям той же плоти и крови, возбуждает их разорять старый закон и созидать новый. Они забывают, что Тот же Учитель Божественный, имя Коего призывают они, будучи кроток и смирен сердцем, не хотел изменять ни одной черты в законе, но каждую черту оживотворял духом любви, в ней сокрытым.

Осуждая догматизм и обрядность, они сами под конец обращаются в узких и властолюбивых догматиков; восставая против фанатизма и нетерпимости, они сами становятся злейшими фанатиками и гонителями;

проповедуя любовь и правду, сами бессознательно проникаются духом злобы и страстия. Гордость, ослепляя их, не допускает их сознать, какой соблазн вносят они в область веры, разрушая простоту ее и цельность в душах простых, которые Церковь не успела ещё воспитать и привести в сознание веры.

Не трудно,— но и как безумно, как бессовестно соблазнить простую душу, в которой есть только чистое, незанятое поле религиозного чувства, душу невоспитанную, невежественную в истинах веры! Ужасно подумать, что к такой душе приступают с голым отрицанием Церкви, и хотят ее уверить, что эта Церковь с ее учением и таинствами, с ее символами, обрядами и преданиями, с ее поэзией, одушевлявшей из века в век множество поколений, есть ложное и ненавистное учреждение. Простая душа была душа смиренная: сектантство возводит ее на высоту *гордости* — своей, *особливой* верой, а веру вмещает в узкую рамку сектантской *формулы*. Нет души, как бы ни была она невежественна,— к коей нельзя было бы привить такую бессмысленную гордость с уверенностью в своей правде — пред кем? Пред целым народом, составляющим Церковь и живущим в смиренном сознании своей греховности перед Богом и в смиренной надежде на прощение грехов *и на* спасение в молитве церковной. Плоды этой гордости в дальнейшем ее развитии очевидны. Это — *лицемерие* в самодовлеющем сознании праведности; это — злобное раздражение против всех иначе верующих, и до страсти доходящее стремление к отвлечению от церковного стада рассеянных овец его,— причем всякие средства считаются годными для достижения цели.

Церковь подлинно корабль спасения для пытливых умов, мучимых вопросами о том,

во что веровать и как веровать. Пуститься с этими вопросами в безбрежное море исследований, сомнений и логических выводов — страшно для ограниченного ума человеческого, для прихотливого воображения, для самолюбия, стремящегося искать новых путей. Утвердившись на своей, надуманной вере, ставя себя с ней выше авторитета церковного, человек в сущности может кончить тем, что уверует в себя, как носителя веры; может дойти до нетерпимости и фанатизма, до странного оболыщения мысли — принимать веру за самодовлеющий элемент спасения, отрешенный от жизни и деятельности.

Передовые люди, основатели религий, на высотах созерцания созная, в системе вероучения, идею Божества и Его отношения к человеку, создают в применении к ней и формы культа, одухотворенные той же идеей. Но масса народная пребывает в долине и свет чистого созерцания, озаряющий верхи гор, не скоро до нее доходит. В массе религиозное представление, религиозное чувство выражается во множестве обрядностей и преданий, которые с высшей точки зрения могут казаться суеверием и идолослужением. Строгий ревнитель веры возмущается, негодует и стремится разбить насильственной рукой эту оболочку народной веры, подобно тому как Моисей разбил тельца, слитого Аароном по просьбе народа, в то время когда пророк пребывал в высоком созерцании на высотах Синайских. Отсюда, доходящая до фанатизма, пуританская ревность вероучителей.

Но в этой оболочке, нередко грубой, народного верования таится самое зерно веры, способное к развитию и одухотворению, таится та же вечная истина. В обрядах, в преданиях, в символах и обычаях — масса народная видит реальное и действенное воплощение того, что в отвлеченной идее было бы для нее не реально и бездейственно. Что, если, разбив оболочку, истребим и самое зерно истины; что, если, исторгая плевелы, исторгнем вместе с ними и пшеницу? Что, если, стремясь разом очистить народное верование под предлогом суеверия, истребим и самое верование? Если формы, в которых простые люди выражают свою веру в живого Бога, иногда смущают нас,— подумаем, не к нам ли относится заповедь Божественного Учителя: «блюдите, да не презрите единого от малых сих верующих в Меня».

В одной арабской поэме встречается такое поучительное сказание знаменитого учителя Джелалледина. Однажды Моисей, странствуя в пустыне, встретил пастуха, усердно молившегося Богу. И вот какой молитвой молился он: «О, Господи Боже мой, как бы знать мне, где найти Тебя и стать рабом Твоим. Как бы хотелось надевать сандалии Твои и расчесывать Тебе волосы и мыть платье Твое, и лобызать ноги Твои, и убирать жилище Твое, и подавать Тебе молоко от стада моего; так Тебя желает мое сердце!» Распалился Моисей гневом на такие слова и сказал пастуху: «ты богохульствуешь. Бестелесен Всевышний Бог, не нужно Ему ни платья, ни жилища, ни прислуги. Что ты говоришь, неверный?»

Тогда омрачилось сердце у пастуха, ибо не мог он представить себе образ без телесной формы и без нужд телесных: он предался отчаянию и отстал служить Господу.

Но Господь возглаголил к Моисею и так сказал ему: «для чего отогнал ты от Меня раба Моего? всякий человек принял от Меня образ бытия своего и склад языка своего. Что у тебя зло, то другому добро: тебе яд, а иному мед сладкий. Слова ничего не значат:

Я взираю на сердце человека».

Древний Персидский поэт Мухаммед Руми (13 стол.) — автор знаменитой поэмы *Маснави*. В ней есть замечательные стихи о молитве, достойные верующей души.

«Некто, в сладость устам своим возопил в тишине ночной: «о Алла!» А сатана сказал ему: «молчи ты, угрюмец, долго ли тебе болтать пустые слова? не дождешься ты ответа с высоты престольной, сколько ни станешь кричать: «Алла!» и делать печальный вид».

Смутился человек, горько ему стало, и повесил он голову. Тогда явился тому пророк Кизр в видении и сказал: «Зачем перестал ты призывать Бога и раскаялся от молитвы своей?» И отвечал человек: «не слыхал я ответа, не было гласа: «Я здесь», и боюсь я, что отвержен стал от благодатной двери». И сказал ему Кизр: «Вот что повелел мне Бог. Иди к нему и скажи: О, искушенный во многом человек! Не Я ли поставил тебя на служение Свое? Не Я ли заповедал тебе взывать ко Мне? И Мое: «Здесь Я» одно и то же, что и твой вопль:

«Алла!» И твоя скорбь и стремление твое и горячность твоя — все это Мои к тебе вестники; когда ты боролся в себе и взывал о помощи — этой борьбою и воплем Я привлекал тебя к Себе и возбуждал твою молитву. Страх твой и любовь твоя — покровы Моей милости, и в одном твоём слове: «о Господи!» множество отзывается голосов: «Я здесь с тобою!»

ИДЕАЛЫ НЕВЕРИЯ

Древнее слово «рече безумен в сердце своем: несть Бог» выступает ныне во всей своей силе. Правда его ясна как солнце, хотя ныне всеми «передовыми умами» овладело какое-то страстное желание обойтись без Бога, спрятать Его, упразднить Его. Люди, — по мысли добродетельные и честные, те задают себе вопрос, как бы сделать конструкцию добродетели, чести и совести без Бога. Жалкие усилия!

Франция, дойдя до крайней степени политического разложения, задумала, в лице своего правительства, организовать народную школу «без Бога». На беду, у нас иные представители интеллигенции не далеко ушли от московской княжны, лепетавшей: «Ах, Франция, нет в мире лучше края», и недавно еще прославленный педагог указывал нам на новую французскую школу, как на идеал для подражания.

В числе новых французских книг, официально предназначенных для руководства при обучении в женских школах насчет правительства, есть книга, называемая: «Нравственное и гражданское наставление молодым девицам», сочин. г-жи Гревилль (*Instruction morale et civique des jeunes filles*). Это нечто вроде гражданского катехизиса нравственности, коим предполагается заменить в школах обучение Закону-Божию.

Книга эта весьма замечательна. Она разделена на три части, и каждая часть на отдельные главы. Первая часть содержит в себе правила нравственности, понятия о долге, о чести, совести и т. под. Вторая часть содержит в себе краткое учение о государстве и о государственных учреждениях. Третья часть — учение о женщине, о ее призвании, качествах и добродетелях. Изложение книги — сжатое, простое, ясное — как пишутся учебники, со множеством наглядных примеров, с картинками в тексте. Нельзя ничего возразить против сущности самого учения: оно зовет к порядку, к доброй нравственности, к чистоте мысли и намерения, к добродетели, и обращается энергически к чувству и сознанию долга, а женщине строго указывает ее обязанности в домашней жизни и в обществе.

Но примечательно вот что. Ни разу ни на одной странице не упоминается о Боге, нет ни малейшего намека на религиозное чувство. Автор, изъясняя глубокое и решительное значение *совести* в человеке, дает такое определение совести: «совесть есть соображение того *мнения*, которое имеют о нас и о действиях наших другие люди» (*consideration de l'opinion des aïtres*). На этом-то зыбком и колеблющемся грунте *людского мнения* сочинители стремятся утвердить нравственные основы целой жизни! Подлинно исполняется на этом слово: «Мнящиеся быть мудрыми - обезумели».

К несчастью, в этот ноток безумия, разливающийся ныне во Франции, привлекаются, и из нашей бедной России, мелкие ручьи доморощенной интеллигенции; и от глашатаев ее, из журналов и газет, из передовых статей и фельетонов, слышится повторяемый хором тот же голос московской княжны. К тому же хору присоединяются нередко благо намеренные, но чрез меру наивные и неопытные умы, воображающие, что журналы и газеты приносят им какое-то «новое слово» цивилизации.

Жалко читать, как журнальные критики рассуждают в вопросе школы, что без религии, конечно, нельзя, что религиозное обучение нужно, но все это без церкви и ее служителей. Говорили бы уже прямее и проще. Мы-де не отвергаем религиозного обучения, мы-де даже требуем его, мы не понимаем школы без него, — только не хотим *клерикализма*. А под покровом этого термина разумеется церковь и церковность. Этот иезуитский прием изложения, усвоенный новыми апостолами народной школы, вводит в заблуждение многих читателей, не умеющих «различать дух» писания.

Не знают эти добрые люди, что ныне и слово *религия*, как и многие другие слова,

изменилось в своем значении, и под ним стали уже многие разуместь нечто такое, от чего, если б распознал, отступил бы с ужасом человек, подлинно верующий в Бога. Не знают, что в наше время выдумана религия *без Бога*, и самое слово *Бог*, в употреблении у так называемых *людей науки*, получило особое значение.

В 1882 году появилась замечательная книга, обратившая на себя общее внимание. Отрицание Бога высказывалось большею частью ненавистниками всякой религии, с чувством ожесточения, с выражением легкомысленной или злобной иронии, с проповедью об исключительном значении *материи* во вселенной. В этой книге в первый раз выразилось, в спокойном тоне, с достоинством, с идеальным воззрением на жизнь, целое учение о религии без Бога. Книга эта называется: *Натуральная религия* (Natural Religion, Lond. 1883). Автор ее—оксфордский профессор Сили (Seelcy), тот самый, коего первое сочинение *Ессе Ното*, появившееся лет за десять пред тем, обратило тогда на себя внимание не только людей мирской науки, но и благочестивых идеалистов, мнивших найти в нем какое-то новое слово о Христе и о христианской вере. Некто и;! уверовавших в эту книгу издал ее и в русском переводе.

Но людям церковным и в то время кии га эта казалась странною и сомнительною. Нельзя было отнестись к ней с доверием.

Книга эта содержала в себе художественный анализ земной жизни и характер Иисуса Христа, исключительно в чертах человеческой Его натуры. Она была написана в духе глубокого благоговения, языком философским, но не чуждым терминов церковных и богословских. Целью анализа явно выказывалось намерение выяснить образ Христов для благоговейного подражания. Казалось, автор — христианин, исполненный благочестивого чувства. Однако, многим благочестивым читателям этой книги было от нее смущение: как будто с их христианским воззрением и чувством не сходится то же, по-видимому, христианское чувство и воззрение автора. Образ Христа в этой книге был образом верховной святости, чистоты и благости, но не родной, не свой, не тот. Кого мы привыкли с детства чтить Богочеловеком, Словом Божиим, не тот Христос, Кого славит церковь Христова. Что-то неладное слышалось в книге, как будто автор ее или утратил веру, или недалеко стоит от того. Однако, и этой книге автор видимо утверждал еще веру в личное бытие Бога, в бессмертие души человеческой, в мессианское значение пришествия Христа в мир, и даже, хотя с некоторым колебанием, в действительность чудес Христовых.

Прошло 10 лет, и *он* является, как ни в чем не бывало, восторженным проповедником религии, но религии новой, не Христовой. Старое откровение,— говорит он,— отслужило свою службу; вместо него явилось новое: новейшие естествоиспытатели, историки, филологи — принесли нам такое откровение, о коем и не мечтали древние пророки. С этой точки зрения библейская критика немецких ученых выше и совершеннее самой Библии. Обращаясь с необыкновенной наивностью, к людям верующим и церковным, он говорит: о чем нам спорить, о чем враждовать друг с другом? Мы можем соединиться в одной вере. Мы, люди науки, тоже веруем в Бога. Наш Бог — природа, которая есть в известном смысле откровение. Итак, мы не безбожники, повторяет он, и весь спор между нами, людьми науки, и вами, богословами, есть лишь спор о словах. Не все ли равно:

у нас Бог — природа, и научная теория вселенной есть тоже теория теизма. Ведь, природа есть сила вне нас сущая, закон ее для нас безусловен,— вот, стало быть. Божество, которому мы поклоняемся.

Не любопытно ли, что автор, отвергая личное бытие Божие, в то же время протестует энергически против обвинения в атеизме, и сам отвергает и осуждает атеизм. Что же такое атеизм, по его мнению? На этот вопрос автор отвечает таким измышлением ума, который простому уму может показаться безумием.

«То, что обыкновенно называют атеизмом, есть очень метафизическая форма отрицания и не имеет серьезного значения. Подлинный, действительный атеизм имеет гораздо более серьезное значение и заключает в себе великое нравственное зло. Настоящий атеизм может быть назван общим термином *своеволие* (wilt'ulness). Именно, всякая деятель-

ность человеческая есть сделка с природою, сделка нашей потребности с неотразимым законом природы... Не признавать ничего, кроме собственной воли, воображать доступным все, что наметила сильная воля, не признавать вне себя никакой высшей силы, которую надлежит принимать в соображение и склонять на свою сторону для успеха в предприятии, вот в чем заключается *чистый атеизм*. Желая пояснить примером эту смутную и спутанную мысль, автор приводит в пример государство, являющее в судьбах своих образ чистого атеизма, и указывает на Польшу. *Sedel aetern unique sedebit*,— говорит он, - несчастная Польша, испытывая кару за преступное атеистическое своеволие, за то, что услаждалась безграничной личной свободой, не хотевшей считаться с природой вещей».

Составляя свою теорию религии, автор описывает подробно, как вырождается, но его мнению, религиозное чувство из науки, и как, проходя через призму воображения, оно расчленяется в нравственном существе человека в форму тройкой религии: религию природы, религию человечества и религию красоты.

В этой книге, написанной с талантом и одушевлением, высказано, хотя к первый раз с такой полнотой, далеко не новое учение; читатель встречает в нем знакомые черты столь модного в наше время позитивизма, черты,— знакомые по сочинениям Канта, Джорджа Эллиота и столь излюбленного у русских переводчиков Герберта Спенсера. Ни в одном из помянутых сочинений не обличается так явственно внутреннее бессилие этой модной теории, как в книге «*Natural Religion*». До какого безумия может договориться ум, когда, увлекаемый гордостью самообожания, отвергает *сверхъестественное* в жизни и вселенной, и принимается строить свою теорию жизни в ее отношениях ко вселенной. Эта теория осуждена вертеться в заколдованном кругу и сама себе, противоречит. Упраздня личное Бога, она пытается удержать' религию, и 'напрасно пытается установить предмет религиозного чувства, ибо кроме живого Бога нет предмета для религии. Отвергая невидимый мир, бессмертие души и будущую жизнь, она полагает, однако, целью жизни счастье и напрасно пытается ограничить его пределами материи и земного бытия. Называя откровение выдумкой, или мечтою, и всякий догмат ложью, она сама, однако, ищет опоры себе не в ином чем, как в новом догмате, выставляя, в виде аксиомы, в которую должно верить, неперемный и бесконечный прогресс человечества.

Эта теория как раз отражает в себе то *своеволие* и гордое упорство мысли, которое наш автор соединяет в своем понятии с атеизмом. В ней не видно той цельной и ясной *уверенности*, которая служит признаком истины и прочности учения. Проповедники ее — в своей проповеди о счастье человечества — все спотыкаются на действительности, которой не могут отрицать. Эта действительность есть неотвратимое присутствие *зла* и *действия*, насилия и неправды в человеческой жизни — аргумент *пессимизма*. Этого аргумента нельзя утаить; одни из апостолов позитивизма стараются подавить и за глушить его, или лицемерно обходят его молчанием; другие, более добросовестные, останавливаются перед ним с грустью и сомнением. К числу последних относится и наш автор. Прославляя новую, проповедуемую им религию природы, человечества и красоты, доказывая всю силу и действенность соединяемого с нею религиозного культа, он в то же время говорит: «Едва начинаем мы успокаиваться на той мысли, что все познаваемое и естественное довлеет для человеческой жизни, как поднимает свою голову пессимизм и приводит нас в смущение». «Если бы не пессимизм, — замечает он в другом месте,— ничто не смущало бы нашего религиозного поклонения». И в самом конце книги, построив свое здание, говорит он такие речи:

«Чем далее расширяются и углубляются наши мысли по мере того, как вселенная объемлет нас и мы привыкаем к бесконечности, в пространстве и времени, тем более поражает нас чувство собственного ничтожества, и мы от ужаса цепенеет — нравственный паралич овладевает нами. На время утешаем себя идеей самопожертвования, говорим: пускай я исчезну, буду думать о других. Но вот, скоро и другие становятся для нас столь же презрительными, как сами; все печали человеческие, заодно, кажется, не стоят того, чтобы облегчить их, счастье человеческое — даже высшее — представляется так бледно, что не

стоит заботиться о приращении. Весь мир нравственный сводится на одну точку; град духовной жизни, жилище святых — уходит вдаль и светится чуть-чуть заметной звездочкой. Добро и зло, правда и неправда кажутся бесконечно малыми, эфемерными величинами, а вечность и бесконечность остаются где-то вне нравственного мира. Чувство любви замирает и истощается в мире, где все доброе и все пребывающее — холодно, — истощается в своей собственной сознательной слабости и беспредметности. Сверхъестественная религия, — прибавляет автор тут же, — наполняет всю эту пустоту, связуя любовь и правду с вечностью. А если она потрясена, то к чему послужит естественная религия?»

Можно ли поверить, что эти слова написаны горячим проповедником естественной религии? Так-то серьезный ум способен запутаться в сотканной им же самим умственной сети.

Сущность всей этой книги, при всей умеренности тона, при всей искренности автора — безотрадный парадокс. Что различные мировоззрения — научное, художественное, гуманитарное, заключают в себе элементы религиозного чувства — это верно. Но они не заключают в себе элементов повой веры, новой церкви, а есть отдельные члены — *disjecta membra* -- того же христианского мировоззрения. Никакая религия невозможна без признания аксиоматических истин, недостижимых индуктивным путем. К таким аксиомам принадлежит бытие *личного* Божества, духовность души человеческой; отсюда вытекает с *у пер натурализм*, без которого немыслима никакая религия. Научные же истины (кроме математических) по существу своему условны, существуют сознательно лишь для людей ученых, и лишь *обманом* могут быть навязаны массам в форме догматической. Этот обман ныне и происходит... мы при нем присутствуем ежедневно.

Нетерпимость к чужой вере и к чужому мнению никогда еще не выражалась так решительно, как выражается в наше время, у проповедников радикальных и отрицательных учений: у них она неумолимая, жестокая, едкая, соединенная с ненавистью и презрением. Если вдуматься в отношение этих новых учителей к непризнаваемой ими вере, — оно окажется, может быть, еще ужаснее старинной религиозной нетерпимости, вызывавшей кровавые преследования за веру. В последнем случае преследование основывалось на безусловной же вере в истину безусловно существующую. Когда человек верует в данное положение, что оно *должно быть* истиной для всех, что на нем зиждется безусловное начало жизни и благо для всех и каждого, как магометанин верует в Коран, понятно, что такой человек считает своим долгом не только исповедовать открыто свое учение, но, в случае нужды, и насильно навязывать его другим. Но когда дело идет, все-таки, не более как о мнении, о предположении, хотя бы и наиболее вероятном для того, кто его вывел, — как понять фанатизм такого мнения, как понять, что проповедник его не признает и не допускает ни для себя, ни для других не только противоположного мнения, но даже сделки, хотя бы условной и временной, с противоположным мнением? Между тем, такое страстное отношение к своему мнению или к мнению своей школы составляет принадлежность всех отрицательных учений. Отвергая, как будто не бывшее и не сущее, всю предшествующую историю духовного развития в человечестве, не признавая ни за каким существующим издревле верованием и духовным состоянием — права на самостоятельное существование, не останавливаясь ни перед одной святыней личного верования, заключенного в душе человеческой, — они требуют для себя свободного входа во всякую душу и повсюду хотят водворить свою так называемую истину. Это называется у них верностью своим убеждениям. Один из представителей учения Конта и позитивистов (John Morley. *On Compromise*) говорит, напр., в своей книге, что первый долг всякого человека в отношении к себе самому и к человечеству — разрешать в душе своей вопрос: верует он или не верует в бытие Божие? Затем, если положим, он пришел к убеждению, что вера в Бога есть не что иное, как слепое и безумное суеверие, — долг его, самый священный, вторгаться с этим убеждением во всякую душу, пользоваться всяким случаем и поводом, чтобы передавать это убеждение — прежде всего родным и близким, а потом, если можно провести его в массу, — всюду выказывать его, и отвергать безусловно всякие явления и формы частного и общественного быта, в

которых прямо или косвенно выражается вера, противоположная этому убеждению... Такой образ действия — что же иное, как не страшное насилие над чужой совестью, и во имя чего? Во имя только своего личного мнения!

Не видать и не слышать ни любви, ни веры в этой бездне самолюбия! А без любви и веры нет истины. Какая разница — слышать голос старого, истинного учителя. Сколько веры и любви, сколько глубокого знания души человеческой в апостольском слове к Коринфянам о -том, как следует уважать человеческую совесть. Он знает, что есть истина, но и с этой истиной духовного ведения как осторожно велит он подступать к душе человеческой. Главное дело состоит в том, чтобы душа приняла и обняла новую для нее истину в *духе искренности и, правды*, без раздвоения, без разлада с собой, прямой цельной верой. Все, что не от веры - грех. И апостол учит сильных, знающих, чтоб они щадили совесть слабой братии в *самом, суеверии*, покуда душа не созрела еще до восприятия истины цельной верой.

Вы знаете,— говорит он,— что пища не поставит нас пред Богом: едим ли мы — не приобретаем, не едим ли — не лишаемся. Вы знаете, что идол — ничто, что ложный бог не существует вовсе, и потому вы со спокойной совестью покупаете на торгу и едите мясо, которое принесено было в жертву идолу. Но не у всех такое ведение: есть слабые, у которых может быть *идольская совесть*, для которых идол — есть еще нечто существующее, страшное и злое: для них есть такое мясо — значит приносить жертву идолу, и когда они видят, что вы едите его, их слабая совесть соблазняется, то есть, приходит в разлад, в раздвоение по предмету веры. Итак, чтобы не соблазнять совестью слабого брата, лучше не есть мяса веки. Апостол — проповедник *свободы* христианской, происходящей от уверенности, жертвует в этом случае *свободой* — охранению *совести*, потому что совесть для пего всего дороже.

Удивительно безумие, до которого доходят умные люди, взрослые в отчуждении от действительной жизни, и ослепленные гордой уверенностью в непогрешимости разума и логики. Обожание разума, отвратив их от положительной религии, доводит их, наконец, до ненависти ко всякому верованию в Единого Живого Бога. Но те из них, которые добросовестны настолько, что не могут отвергать потребности в вере, заявляемой всем человечеством,— те, у кого ость еще сердце, по совсем иссушенное черствой логикой мысли,— допускают законность религиозного чувства в природе человеческой и пытаются удовлетворить его какой-то поной, или измышленной религией. Вот тут и приходится дивиться мечтательности планов, изобретаемых умами, по-видимому стремящимися изгнать все похожее на мечту из своих выводов и соображений. Штраус, в своем сочинении «О старой и ноной вере», отвергая христианство, говорит с энтузиазмом о религиозном чувстве, но предметом его и центром ставит вместо Живого Бога идею вселенной, так называемое: Universnni. В Лондоне появились в свет найденные но смерти Милля отрывочные мысли его о религии, под заглавием: «Три статьи о религии: Природа, Польза религии и Деизм». Пользу религии он признает несомненно, но отвергает христианство, хотя выражается о лице Христа с величайшим энтузиазмом. «Не возможно, - говорит он, оспаривать великое значение религии для отдельного человека: это источник личного удовлетворения и высокого духовного настроения для каждого. Но спрашивается, для достижения этого блага необходимо ли переступить за границы обитаемого нами мира, или и без того одна идеализация нашей земной жизни, одно возбуждение и развитие высших о ней представлений могут создать для нас поэзию, и даже в высшем смысле этого слова, религию, такую, которая была бы способна возвышать чувства наши и могла бы (с помощью воспитания) еще лучше, чем вера в существа невидимые, благородить наше существование и деятельность?»

Вопрос, достойный Милля, каким мы его знаем по истории его воспитания. Любопытно, как же он решает этот вопрос. Милль не мог искать решения, подобно Штраусу, в идее вселенной; не мог потому, что Милль, странно сказать, не верует в природу; в начале той же книги он, верный, как всегда, отчуждению своему от жизни, входит в исследование: «насколько верно то учение, которое полагает в природе мерило правды и неправды, добро и

зло, и руководственным началом для человека ставит сообразование с природой или подражание природе». Этого учения Милль не признает, потому что в природе видит слепую силу, и ничего более. Она внушает желания, которых не удовлетворяет, воздвигает великие дарования, силы и дела с тем, чтоб в одно мгновение сокрушить их,— словом сказать, разоряет в миг, слепо и случайно, все, что ею самой создано. Оттого Милль отказывается строить на природе какую бы то ни было систему нравственности или религии.

Что же придумывает Милль? Вот подлинные слова его: «Когда представим себе, до какого сильного и глубокого чувства может достигнуть, при благоприятных условиях воспитания, любовь к отечеству, нам станет понятно, что очень возможно и любовь к обширнейшему отечеству, то есть, к целому миру, довести до подобной же силы развития и обратить ее в источник высших духовных ощущений и в начало долга. Кто желает ознакомиться с понятиями древности об этом предмете, пусть читает Цицеронову книгу: *De officiis*. Нельзя сказать, чтобы мера нравственности, устанавливаемая в этом знаменитом рассуждении, была очень высокая. По нашим понятиям, эта нравственность во многих случаях очень слабая и допускающая сделки с совестью. Но относительно одного предмета — относительно долга к отечеству — не допускает она никакой сделки. Чтобы человек, имеющий хотя малую претензию на добродетель, на минуту призадумался пожертвовать отечеству жизнью, честью, семейством — всем, что ему дорого на свете, этого не допускал и в предположении славный проповедник греческой и римской нравственности. И так история показывает, что людям можно было привить воспитанием не только теоретическое убеждение в том, что благо отечества должно быть выше всяких иных соображений, но и практическое сознание, что в этом состоит величайший долг жизни. Если это было возможно, то почему же нельзя внушить им чувство точно такого же безусловного долга относительно общего блага для целого мира? Такая нравственность в натуре высоко одаренной почерпала бы силу из чувства симпатии, благоволения, восторженного одушевления идеальным величием, а в натурах низшей организации — из тех же чувств, по мере природного их развития, да притом еще из чувства стыда. Эта высокая нравственность не зависела бы нисколько от надежды на награду. Единственной наградой, которую имели бы в виду, и мысль о коей служила бы утешением в печали и опорой в минуты слабости,— единственной наградой было бы не сомнительное загробное бытие (!),— но в этой жизни одобрение всех уважаемых нами людей и, в идеальном смысле, одобрение всех, как живых, так и умерших людей, кого мы чествуем и кого похваливаем. Действительно, та мысль, что дело наше одобрили бы умершие друзья и родные наши, когда бы были живы, способна одушевить нас не менее, чем мысль об одобрении современников... Сколько раз люди высокого духа одушевлялись к делу мыслью о том, что им сочувствовал бы Сократ, Говард, Вашингтон, Антонин. Если такое настроение духа назовем просто нравственным, слово это будет недостаточно. Оно есть действительно — *религия*: добрые дела составляют только часть религии, плоды ее, но не самую религию. Сущность религии состоит в крепком и серьезном направлении чувств и желаний к идеальной цели, превосходящей все личные цели и желания. Это условие осуществляется в религии *гуманности* точно так же, как и в сверхъестественных религиях: я убежден даже, что осуществляется еще лучше и совершеннее»...

Приведенные слова сами за себя говорят. Они показывают всю близорукость,— лучше сказать — все безумие человеческой мудрости, когда она хочет делать отвлеченную конструкцию жизни и человека, не справляясь с жизнью и не зная души человеческой.

Такая религия, какую воображает Милль, может быть, пожалуй, достаточна для подобных ему мыслителей, заключивших себя от всего мира в скорлупу отвлеченного мышления; но разве может принять ее и понять ее народ,— живой организм,— объединяющийся только живым чувством и сознанием, а не мертвым и отвлеченным началом? В народе такая религия, если б могла быть введена когда-либо, оказалась бы поворотом к язычеству. Народ, который нельзя себе представить в отделении от природы, — если б мог позабыть веру отцов своих,— снова олицетворил бы для себя как идею — вселенную, разбив

ее па отдельные силы, или то человечество, которое ставят ему в виде связующего духовного начала, разбив его на представителей силы духовной,— и явились бы только вновь многие лживые боги вместо единого Бога истинного... Неужели этому суждено еще сбыться?!